



С. О. БУРАЧОК

Стихотворения М. Лермонтова

СПб., 1840

(Письмо к автору)

Имеет ли образ мыслей наших влияние на наши действия, стремления, горести, радости — на всю нашу жизнь? Без сомнения, наш образ мыслей производит владычное влияние на все наше. Но если образ мыслей наших ошибочен, ложен, тогда и все наши стремления, все дела, вся наша жизнь непременно ошибочны, ложны, и мы — страдаем. Образ мыслей — это наша философия: у каждого своя. Истинная философия — одна: ей должны подчиняться все частные философии — Ивана, Кузьмы, Данилы, Терентия, если Иван, Кузьма, Данило не хотят оплакивать горьких следствий своей ложной философии, т. е. ложного, своевольного образа мыслей.

Страдания, несчастья, беды, неудачи нашей жизни — это горы, овраги, камни, которые Промысл Божий ставит на ложных путях наших; ими он *отводит*, мешая нам продолжать ход по ложной дороге и мало-помалу наводит на дорогу прямую или близкую к прямой. А мы что делаем? — В пылу героизма бросаемся на гору; там изрежемся, исколемся, измучимся, хватаемся за всякую хворостинку, первая из них нам изменяет, и мы — стремглав летим в пропасть. Или, одушевляемые *молодечеством*, встретя непроходимый овраг, самоуверенно с разбега хотим перепрыгнуть его; смотришь — бедняга лежит на дне с разбитой головой. Или, встретя поперек дороги камень, мешающий проезду всего кортежа наших замыслов, сознаем в себе силы Атланта¹: «Давай схватим камень в охапку, сбросим за девять земель!» — и в изнеможении от бесплодных усилий падаем, изрыгая проклятия на камень.

Что ни говорите, а такой героизм — смешон, такое молодечество безрассудно! А если вспомним, чья отеческая рука ста-

вит преграды на путях гибели, именно желая спасти от них, если вспомним, против кого мы геройствуем, молодецествуем, то наше геройство, молодечество будут уже преступны! Но не в таком ли героизме и молодечестве проходит вся наша жизнь? Оглянемся кругом себя. И почему все это? Потому что нам так *кажется*, мы так *думаем*; всему злу вина — образ мыслей, философия! Сколько ни горячись мы, как ни бейся, сколько ни увертывайся, а надо согласиться, что первая обязанность каждого — быть *умным*, т. е. *уметь* судить о вещах здраво, изучать истинный *порядок* вещей — и быть еще *разумным*, т. е. жить во свете разума вечного. Тогда образ мыслей наших (философия) будет верен, поступки наши — верны, жизнь — верная, светлая, и мы — счастливы. «*Век живи, век учишься!*» Дело чрезвычайно просто. Отчего же не так делается? — Это очень любопытно.

Есть на свете животное, из рода домашних скотов, его зовут: *Я*. Удивительная, ужасная тварь этот господин *Я*. Как жаль: ни Бэр, ни Брандт, ни Куторга² не потрудятся порядком разанатомировать, рассмотреть его в микроскоп! Представьте себе инфузорий, презренный прах, чуть-чуть заметный зоркому глазу, вооруженному «солнечным» микроскопом, — этот инфузорий всей землей ворочает и такие штуки куролесит, такие страшные, денноночные опустошения производит повсюду, что удивительно, как целая рать досужих охотников до сих пор не ополчится на этого лютого зверя и не затравит его, как зайца.

Но, пока гг. физиологи ополчатся на него своими пинцетами и ланцетами и ретивейшие из охотников вселенной ополчатся на него вилами и секирами, я охотно предложу для желающих краткое описание этого ужасного, опустошительного инфузория, сделанное одним очень немудрым неучем, который во всю свою жизнь только и делал, что наблюдал его. Фамилии не помню.

«Это животное, — говорит он, — нельзя назвать духом, потому что в нем вовсе нет разума, а пропасть ума. Нельзя назвать его и веществом, несмотря что у него есть тело; *Я* проникает все тело, властвует в нем, непобедимо в нем, окопалось им, как неприступными окопами; его нельзя добыть, не разрушив тела, нельзя выжить его оттуда иначе как смертью, но можно усмирить его блокадой, можно крепко стеснить его тесною осадой — на штурм не советую ходить, не сдастся; нет, довольно осадить, неусыпно стеречь все выходы, крепко стоять против всех вылазок; а его вылазки ужасны, зверски злостны,

ежеминутны... Но *Я* — страшный трус: чуть видит, что вы тут, что вы не спите, что меч ваш обнажен, — сейчас же и назад! Голодом, только голодом морить его; до смерти боится! Чем он голоднее, тем полезнее, мало-помалу он присмирееет, подчас прикинется даже мертвым — лукавый!.. не верьте, не прекращайте вашего строгого надзора за ним! Но, доведя его до состояния «ручного» животного, до послушности домашнего скота, можно извлечь из него большие житейские пользы. Этот *Я* ужасно силен, ужасно гибок, сметлив — на все руки! С ним чудеса можно делать: только надо держать в ежовых рукавицах. Ко всему этому еще он страшный лясник; такой сиреной запоет вам, таким добреньким прикинется, так вас разжалобит... только слушайте! беда! Законопатьте уши *разбивным* мушкетером (молотком), проварите густой смолой или доброю замазкой замажьте!

Вы узнаете его по следующим признакам.

Начать с того, что он ужасный вор. Крадет все на свете, все чужое, если может, присваивает себе. Это его отличительное качество, родоначальник всех бесчисленных его погибельных пороков. Он крадет чужую жену, чужое доброе имя, славу, открытие, статью — все, все на свете, что только чужое, ему ужасно хочется *присвоить* себе во что бы ни стало; все пропадай, только бы ему было хорошо! Но этого мало. *Я* выходит на сцену жизни: добивается насмерть курений, поклонений, самого рабского служения — все подавай ему на жертву! Где только вы слышите клики своеволия, свободы, вольности, — знайте, это оно — *Я*! Одно слово «закон» приводит его в бешенство. Он сам хочет предписывать всему законы, сегодня так, завтра иначе, смотря по тому, что для него лучше.

Сознавая себя чем-то великим, оно ищет блеска, славы, грома торжеств. Геройство, молодечество, удайство, выскочка, отличие — вот его поприще, пища, услада: “Смотрите, каков *Я*! — знайте меня!” — кричит оно, подбоченясь и высокомерно озираясь вокруг себя. Стать головой выше всех, где бы ни было, как бы ни было — ему все равно, только бы стать. Оно питается всем, везде находит себе пищу. В кулачном бою и в литературе, в презрении богатств и в скоплении богатств всех видов и родов, в лохмотьях нищего и в разряженной щеголихе, в игре в бабки и в политике, с Диогеном в бочке и с Алкивиадом в кругу прелестниц — *Я* первый, *Я* всех выше, все мое, и все — мне!

В то же время, разумеется, этот *Я* — сама зависть! До того, что такой же ломоть черного хлеба в *чужой* руке ему кажется и

белее, и слаще, и толще. Он *горд*, надут собой, как пустой пузырь воздухом; *зол* как василиск; но, зная очень хорошо, что люди презирают *чужую* зависть, гордость и злость, *Я* всячески их прячет — и вы всегда услышите: “Согласен, *Я* многого не знаю, во мне есть много недостатков, но зато *Я* не *завистлив*, не *зол*, не *горд!*” Где это говорят, там-то и ищите всего такого, хотя бы даже в самих себе: нужды нет.

Этот *Я* самолюбив как черт, от которого и напутствуется демонским самолюбием. Он все любит лишь для себя: жену, друга, службу, удовольствие, литературу! Нет вещей, существ, которых бы *Я* пощадил и не приносил в жертву своему самолюбию.

Этот *Я* — преленивое животное! Всякий труд — его в ужас приводит! Но поманите отличием, геройством, молодечеством — он готов себе двадцать раз шею сломить, вынести сорок чахоток, задохнуться в трехдюймовом корсете, только бы другие сказали: “Ах!”. Но сколько он ленив на бескорыстный труд, столько же неумомим на ловле удовольствий, ненасытен к наслаждениям; тут он не разбирает средств: только бы забавляло, только бы шумело в ушах, играло в глазах да беспрестанно переменялось: “Нового! новенького! животрепещего свежестью!” Резня, ссора, драка, сплетня, клевета, интрига — все ему по вкусу, самые грязные, ужасные, *раздираательные* сцены, — были бы только “новенькие”: о, он во всем найдет поэзию, все проглотит с жадностью, все обгложет до костей.

А какой лжец этот *Я*! Что ступит, то солжет, слукавит, притворится, обманет, сольстит, обольстит. Да как же иначе и быть ему: сказать правду значило бы показать себя, каков он есть, т. е. ужаснуть собой. Зато и “правда” колет его как стальной спицей, ест как дым, терзает как тупая пила; правду он до смерти ненавидит: попробуйте коснуться хоть лебяжьим перышком правды до его самолюбия — увидите, какой неистовый подымет рев! Довольно одного этого: мы уже предвидим в нем скопище всех возможных страстей, неистовств, беснований. Например...»

Прекращаю выписки: их много еще осталось — в другое время dokonчу; теперь с нас будет и этого. Какое страшное чудовище! В каком неприступном мраке оно гнездится! Какое дикое, злое, гнусное, величавое, блистательное, любезное, ленивое и неумомимое, злое и ласковое, гордое и льстивое, — о, ненавистное!

— Да кто же оно, кто этот ненавистный *Я*?

— Это — я, ты, он, она, оно, мы, вы, они, оне!

— Боже мой! Как это можно!

— Да точно так! — Присмотритесь, осяжите хорошенько, по возможности без самолюбия. «Кивните не на Петра, а на себя!»³ — и вы увидите.

С этим-то чудовищем мы родимся, проводим целую жизнь, и разве смерть убьет его... Но много и таких несчастных, которые, добровольно быв заодно с ним при жизни, совершенно преобразуются в него по смерти — и уже никакое могущество не спасет их от вечного страдания.

Много есть в человеке прекрасного, божественного: все это Божий дар — не наше, хотя Я и то присваивает себе и, как тарантул, отравляет своим ядом все, к чему ни прикоснется. Все прекрасное в человеке, все, чем украшается жизнь, история, все это снисходит свыше тройственной силою добра, истины и любви. Борьба свирепого Я с ними наполняет все минуты жизни, все страницы истории человечества. В каждое столетие эта борьба склоняется то на ту, то на другую сторону; так будет продолжаться до совершенной победы добра над злом. Наше столетие исключительно склонилось на сторону Я: посмотрите на необъятные разливы его в себе и кругом вас во всем. Это преобладание Я особенно выразилось в литературе XIX века и убило поэзию повсеместно. Поэзии нет! А как и мы считаем за честь и долг подражать своим наставникам, то и у нас. Но у нас это — наносное, привитое, вовсе несродное коренным элементам нашей народности, так дивно сохраненной промыслом в течение целого тысячелетия.

Перед нами «Стихотворения М. Ю. Лермонтова». Это замечательный стихотворец, очень и очень непоследний, может быть первый из нынешних «стихотворцев». Стих славный, стальной: он и гнется, и упруг, и звучит, и блестит отражением мысли. Но отличительное достоинство этого стиха, которым он едва ли не превосходит все русские стихи: в нем столько слов, сколько нужно их для полного и ясного выражения мысли. Стихотворец, кажется, и не думает о рифме, не разжижает для полного счета стоп своего стиха вставными ненужными словами. Ежели совершенный стих должен в чтении сохранять всю естественность и свободу прозы — а это действительно так, — то стих Лермонтова очень близок к совершенству.

Другое достоинство этого стиха — чистота, скупость на риторические орнаменты, даже иногда бедность их. Он совершенно противоположен стиху Бенедиктова⁴, увешанному метафори-

ческими серьгами, браслетами, фероньерками, где брильянтовыми, а где, и большею частью, стразовыми, оттого что в них иногда, за неимением мысли, могущей играть и отражаться в тропических⁵ гранях стиха, — «вода», простая стеклянная вода! Стих Бенедиктова — девочка: сформируется, довоспитается, образуется — будет хорошенькая. Стих Лермонтова — мальчик, рослый, плечистый, себе на уме. Редко он резвится, еще реже он играет теми миленькими пустячками, в которых многие находят поэзию поэзии.

— А когда так, то чего ж еще требовать, Россия может гордиться отличным поэтом?..

— «Впредь утро похвалю, как вечер уж наступит!»⁶. Одного захвалили наповал⁷, побережем хоть тех, которые целы еще. Послушайте, умный поэт! Пока стихи ваши были в вашей портфели, они были неприкосновенны для критики. Вы их пустили в свет — не угодно ли вам стать поодаль и вместе с нами посмотреть на них глазом постороннего. Это, право, стоит труда.

Стих мы видели; сохраните его навсегда таким — и на первой же выставке покажем его всей Европе. Теперь посмотрите, что в этом стихе содержится: его *мысль, содержание* — его душу.

В книжке 168 страниц и 27 статей. Не бросаясь в крайности, придержимся середины, прочтемте XVI статью:

Журналист, читатель и писатель

< >

О чем писать? Восток и юг
 Давно описаны, воспеты;
 Толпу ругали все поэты,
 Хвалили все семейный круг,
 Все в небеса неслись душою,
 Взывали с тайною мольбою
 К N. N., неведомой красе, —
 И страшно надоели все.

Вы сущую правду сказали, умный поэт, вам «не о чем писать», а все журналисты виноваты! Бегайте их! Не будь ежесекундной повинности, оброка, поставки стихов к сроку, вы бы, может быть, добровольно написали целую поэму; а из-под неволи: «Пиши! Дай стихов!» — да еще стихов по *ихней* теории, чтоб были *могущие, раздирательные*, без всякой цели, а пуще всего — непременно в честь и славу Я, которое терпеть не может «нравственных сентенций», «нравоучений» или, что одно

и то же по новейшему толкованию, «китайского духа»⁸. Да ко всему этому чтоб были еще и новенькие, с новой оригинальной мыслию. *Ничто не ново под луною!* Данные все те же от создания мира — где же набраться новенького! Поневоле бросишься в свое *Я*, оно теперь гигантски шагает, молодеет, новеет, свобода у него полная; софизмы, призраки, все, что идет наперекор всему признанному за истинное здравым смыслом всего человечества, — одним словом, полный простор: пиши что душе угодно, только бы не совпадало с тем, о чем прежде писали, — и будет оригинально. Эти гг. эстетики журнальные решительно сбили с толку поэтов своими гасовыми теориями. «Маяк» говорил уже об этом (Ч. IV, гл. IV, ст. IV)⁹. Они-то довели и вас, умный поэт, до печатного сознания, что вы не знаете «о чем писать», что вам недостает *содержания*. Посмотрим.

< >

О чем писать?.. Бывает время,
 Когда забот спадает бремя,
 Дни вдохновенного труда,
 Когда и ум и сердце полны,
 И рифмы дружные, как волны,
 Журча, одна вослед другой
 Несутся вольной чередой.
 Восходит чудное светило
 В душе проснувшейся едва:
 На мысли, дышащие силой,
 Как жемчуг нижутся слова...
 Тогда с отвагою свободной
 Поэт на будущность глядит,
 И мир мечтою благородной
 Пред ним очищен и обмыт.
 Но эти *странные творенья*
 Читает дома он один,
 И ими после без зазренья
 Он затопляет свой камин.
 Ужель *ребяческие чувства,*
Воздушный, безотчетный бред
Достойны строгого искусства?
Их осмеет, забудет свет...

Как светло, как все это прекрасно! И как редко такое самосознание в поэтах, такой дар самокритической оценки. Остается желать, чтоб поэт был неумолимо послушен своему критическому чувству и при первой его невыгодной цензуре — в огонь. Но далее смотрите, как *Я* выходит из стихов:

Бывают тягостные ночи

.....

Болезненный, безумный крик
 Из груди рвется — и язык
 Лепечет громко без сознанья
 Давно забытые названья;
 Давно забытые черты
 В сиянье прежней красоты
 Рисует память своевольно:
 В очах любовь, в устах обман —
 И веришь снова им невольно,
 И как-то весело и больно
 Тревожить язвы старых ран...
 Тогда пишу. Диктует совесть,
 Пером сердитый водит ум:
*То соблазнительная повесть
 Сокрытых дел и тайных дум;
 Картины хладные разврата,
 Преданья глупых юных дней,
 Давно без пользы и возврата
 Погибших в омуте страстей,
 Средь битв незримых, но упорных,
 Среди обманщиц и невежд,
 Среди сомнений ложно черных
 И ложно радужных надежд.*
 Судья безвестный и случайный,
 Не дорожа чужою тайной,
 Приличьем скрашенный порок
 Я смело предаю позору:
 Неумолим я и жесток...
 Но, право, этих горьких строк
 Неприготовленному взору
 Я не решуся показать...
 Скажите ж мне, о чем писать?

Итак, поэт, вам не о чем писать? — Вы это говорите не шутя, настойчиво, повторяете не раз. Итак, вы делали ваши поиски в мрачной стране *Я* и за пределами этого мрака ничего более не видите? Ежели это так, то я согласен, что вам не о чем писать: вы точно ничего не видите — потому именно, что сидите упорно в потемках *Я*; это ужасное *Я* и не вам чета людей слепило. Но кто же вам дал право думать, что если вы не видите, то уж ничего и нет. За страну мрака есть страна света — зачем вы туда нейдете? Там, во свете и при свете, вы увидите чудные тайны мироздания, устроенного по чертежу добра, истины и красоты. Проникнутые светом и любовью, вы не поспеете пером за быстротой потока поэзии чистой, небесной, который каскадом ринется из глубины сердца. Там царство поэзии,

там ее ищите. В мрачной стране *Я* нет поэзии, там может быть лишь художественность блестящая, но мертвая, безжизненная. Моральные дети, воспитанные в школе *Я*, обрадуются ей, станут вам рукоплескать, умолять: «Пишите!» — отвернитесь, заткните уши, последуйте собственному критическому чувству и спасите себя от тяжкого отчета перед Богом и потомством за злоупотребление великого дара, дара быть посредником между небом и землей; и если вы не можете (потому что не хотите) быть таким посредником, то уж не делайте из себя посредника между *Я* и землей, которые и без вас составляют одно и вас с собой погубят.

Картины хладные разврата,
Преданья глухих юных дней,
Давно без пользы и возврата
Погибших в омуте страстей,
Не предавайте вы позору,

не только «неприготовленному взору» — никому на свете. И вот почему.

Для неприготовленного — это пагуба. Для приготовленного — противно. Видите, в чем дело: есть пороки — страсти сердца, и есть пороки — страсти ума. Все сердечное, хотя бы и порочное, так окрашивается сердечностью, что сколько вы его ни позорьте, только покажите, сейчас оно проберется в чужое сердце. Как бы вы ни хотели их позорить, но прежде всего вы должны описать их как они есть, как они кажутся; а они всегда нам являются в обольстительном виде и тем обольщают.

Напротив, пороки — страсти ума должно позорить, выставлять как они есть, потому что они подлежат расправе ума, который, убедясь в их лживости, пагубе, несообразности, легко может их отвергнуть, — по крайней мере, не заразится. Пороки ума — смешны: гордость, тщеславие, упрямство, молодечество и пропасть их. Пороки сердца — жалки, увлекают зрителя к состраданию: это самое малое! Вообще же, они прямо берутся за сердце, которое в нас так предано, так заодно с *Я*.

Понимаю жалкую уверенность романистов — жрецов *Я*. Живо рисуя сердечный быт *Я*, они уверены в успехе: чье *Я* не откликнется на голос *Я*? Но таким отвечаю вашими же стихами:

Скажите ж мне, о чем писать?

И для чего? — К тому ли,

Чтоб тайный яд страницы знойной
Смутил ребенка сон покойный

И сердце слабое увлек
 В свой необузданный поток?
 О нет! преступною мечтою
 Не ослепляя мысль мою,
 Такой тяжелою ценою
 Я вашей славы не куплю!

Честный, благородный человек, — дайте вашу руку! Русские писатели и критики! Затвердите эти умные, превосходные стихи, и вы перестанете коситься на «Маяк» и швырять в него камешками из-за угла!

Но будемте откровенны, честный поэт, вы сделали много: вы превзошли стихом всех наших стихотворцев, и самого Пушкина. Большую связку лавров они купили ценою, которую вы назвали «преступною»! Вы дали честное слово не служить с этой стороны сластолюбцу Я и в этом собрании ваших стихотворений почти сдержали его. Но и за всем три четверти ваших стихотворений написаны по диктовке и принесены в жертву тому же Я, только с другой стороны. Статья чрезвычайно важная, потому что современная: многие идут по той же самой дороге. Не доскучайте пересмотреть со мною хладнокровно содержание *лучших* ваших стихотворных статей.

Дума

Печально я гляжу на наше поколение!
 Его грядущее — иль пусто, иль темно,
 Меж тем, под бременем познания (?) и сомненья,
 В бездействии состарится оно.
 Богаты мы, едва из колыбели,
 Ошибками отцов и поздним их умом,
 И жизнь уж нас томит, как ровный путь *без цели*,
 Как пир на празднике чужом.
К добру и злу постыдно равнодушны,
 В начале поприща мы вянем без борьбы.

.....

Что это такое? Это живая картина живущих в Я. Вы, гонители всяких «сентенций», особенно «нравственных сентенций», — посмотрите, здесь что стих, то сентенция, но сентенция на голос Я. Это исповедь нашего юного, *могучего, девственного* поколения.

Его грядущее — и пусто и темно...

Именно потому, что оно гнездится в мрачной стране Я и не хочет знать другой страны — не-Я, где свет и жизнь.

Меж тем, под бременем познания и сомнения,
В бездействии состарится оно.

О, это бремя познаний только кажется ему веским, а в самой вещи оно по своей пустоте — призрак «невесомый». Две-три любвишки, две-три дружбы, запитые на шампанском, две-три несбывшиеся надежды производства, веселого бала, предпринятого волокитства — вот элементы юношеской опытности и разочарования, которые эти господа так смело называют *бременем познаний и сомнений*, от которых так смело делают посылку на все человечество, на всю жизнь.

Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом.

То-то и есть, когда бы мы слушали *ошибки отцов* и *позднюю их опытность*, мы были бы богаты, а то мы все это такое считаем лишь за «нравственные сентенции» — зеваем, когда говорят про них, и с безгласной азбуки начинаем переделывать все дурачества *Я* заново; смерть застаёт нас за складами, тогда как, изучая опыты отцов, мы бы все это могли кончить в несколько ранних уроков, прямо бы узнали *Я* и, не плутая по его распутиям, блаженно устремились бы по путям света и жизни. <...>

Толпой угрюмою и скоро *позабытой*
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодovitой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьбы и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

Видите, любезный поэт, вы начали прозревать пустоту и ничтожность *Я* и его дел в человеке и его мороченья над человеком. Вы указали две-три раны, а их миллионы, и в тысячу крат более смертельных, но где же бальзам и для двух-трех ран? — Или вы не врач, а только прохожий, который тросточкою тычет в гниющие члены человечества? Или вы боитесь, веря своим недозрелым учителям, которым и вы давеча прочли такой поучительный урок, вы боитесь, что давать бальзам и читать нравоучения — одно и то же; посмотрите, в какой прекрасной одежде пустили вы *мрачные*, отрицательно-истинные *сентенции*, мысли свои; оденьте хоть так *светлые*, положительно-истинные мысли, и они произведут общий восторг, потому что в сущности их есть уже сила, свет, и жизнь, и красо-

та, которые невольно движут, озаряют, живут и радуют сердце сами по себе, независимо от художественной одежды, которая то же самое производит в Я — и через Я опять в сердце.

Чтоб окончательно убедить вас, честный и умный поэт, что вы только начали прозирать в безумие, пустоту Я и еще не прозрели окончательно, еще не отложились от служения ему, что вы еще не поэт, а только художник, подающий огромные надежды, могущие и не сбыться, — осмотрите вкратце другие ваши статьи. Только, Бога ради! понимайте меня так, как я говорю, не придавайте — как делают другие — моим словам того значения, которого в них нет и быть не может. И если вы не поставили себе в труд прочесть прежние критические статьи «Маяка», с которыми и эта статья имеет тесную и неразрывную связь, то, надеюсь, вы вполне если не согласитесь со мной, то отдадите справедливость чистоте моих побуждений: т. е. что я хотел только передать вам мое убеждение, а не чернить и оскорблять вас.

1-е января

Как часто, пестрою толпою окружен,
 Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,
 При шуме музыки и пляски,
 При диком шепоте затверженных речей,
 Мелькают образы бездушные людей,
 Приличьем стянутые маски,

Когда касаются холодных рук моих
 С небрежной смелостью красавиц городских
 Давно бестрепетные руки, —
 Наружно погрузясь в их блеск и суету,
 Ласкаю я в душе *старинную мечту*
 Погибших лет *святые* звуки.

Опять ряд «сентенций»! — Резкое обличение Я с другой точки зрения: посмотрим же, что это за *старинная* мечта? Что за *святые* звуки погибших ваших лет, которые вы, поэт, «ласкаете в душе»?

И если как-нибудь на миг удастся мне
 Забыться, — памятью к *недавней старине*
 Лечу я вольной, вольной птицей;
И вижу я себя ребенком, и кругом
 Родные все места: высокий барский дом
 И сад с разрушенной теплицей;

Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
 А за прудом село дымится — и встают
 Вдали туманы над полями.
 В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
 Глядит вечерний луч, и желтые листья
 Шумят под робкими шагами.

И страшная тоска теснит уж грудь мою*:
Я думаю об ней, я плачу и люблю,
Люблю мечты моей (детской?) созданье
 С глазами, полными лазурного огня,
 С улыбкой розовой, как молодого дня
 За рощей первое сиянье.

Так царства дивного всеисильный господин —
 Я долгие часы просиживал (ребенком?) один,
 И память их жива поныне
 Под бурей тягостных сомнений и страстей,
 Как свежий островок безвредно среди морей
 Цветет на влажной их пустыне.

Когда ж, опомнившись, обман я узнаю,
 И шум толпы людской спугнет мечту мою,
 На праздник незваную гостью,
О, как мне хочется смутить веселость их
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!

Жаль! Напрасно! С больными не так поступают. Они, и вы, и все — подданные того же *Я*. Сперва спасите себя от власти его, тогда увидите, что и с ними надо делать. Заметьте, поэт, какие бесподобные описания у вас, — но все это лишь пластика, художественность**, принесенная в жертву *Я*, выглянувшего, как в три окна, в три последние стиха. Идем далее.

И скучно и грустно

И скучно и грустно, и некому руку подать
 В минуту душевной невзгоды...
 Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..
 А годы проходят — все лучшие годы!
 Любить?.. но кого же?.. *на время* — не стоит труда,
 А *вечно любить невозможно*.
 В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа:
 И *радость*, и *муки*, и все там ничтожно...

* Помните, вы сейчас сказали: *и вижу я себя ребенком*; мы ждем от вас рассказа о делах и чувствах вашего детства.

** См. «Маяк», часть IX, глава IV, стр. 35 и далее¹⁰.

Что страсти? — ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка.

И *жизнь*, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, —
Такая пустая и глупая шутка!

Нет, мой поэт, я не согласен с вами: жизнь совсем не шутка, и уж вовсе не такая, как вы говорите. Из всех тайн мироздания тайна жизни человеческой — высочайшая тайна Божией премудрости; и эта тайна полураскрыта человеку откровением; и воображение гаснет, и ум исчезает в беспредельной глубине и красоте этой великой тайны.

Но если вы говорите о жизни *Я* и в *Я* — дело другое! я согласен с вами. Жизнь в пустом *Я* — удивительное противоречие с нашим кичливым разумом, который хвалится, будто все знает и во всем избирает лучшее, а между тем пресмыкается в погибельном раболепстве этому *Я*. Жизнь в *Я*, конечно, и *пустая*, и *глупая*, но *не шутка*, а разве плачевная шутка, оканчивающаяся погибелью *Я* и всего его царства, и всех его подданных.

В себя ли заглянешь?..

И радость, и муки, и *все* там ничтожно.

Не *все* там ничтожно. Есть там чудный образ Божий или, лучше, следы разбитого образа. Но и самые эти следы в духе — удивительны! Ежели вы, поэт, видели, что там *все* ничтожно, значит, опять вы сталкивались только с *Я*, а об нем мало сказать — *ничтожно*.

Не хотел бы я видеть в ваших прекрасных стихах вот таких выражений:

Любить... на время — не стоит труда!

Мало! *Любить на время* — просто порок. В поэзии таким вещам и места нет: разве как тень может художник употребить их в своей картине. Но в таком виде, как тут, нельзя.

А вечно любить невозможно.

Не все то невозможно, что кажется таким. Для *Я*, конечно, это невозможно. Переменчивость, измена — в числе непрременных атрибутов *Я*.

Прекрасная вещь у вас, поэт, «Бородино». Но Бородино — такая колоссальная поэма, что простому усачу даже не понять колоссальных ее элементов. Об этой вещи надо писать огненным пером Ф. Н. Глинки¹¹. Вы сделали большую ошибку, что не взяли труда на себя, а поручили усачу. Это произведение было

бы в тысячу крат выше и «Песни про царя Ивана Васильевича» и «Мцыри» — двух серьезных поэм, где вы вполне показали себя и которые мы с вами повнимательнее пересмотрим; только наперед позвольте заметить вам: статьи, в которых вы особенно слабы, это «Русалка», «Еврейская мелодия»; вовсе не хотел бы я видеть ни в чем собрании стихотворений таких вещей, как «Расстались мы...», «Ребенку», «Благодарность», особенно же «Дары Терека». Скажите, какая поэзия может быть в тех картинах, где вы представляете, что Терек несет с собой и дарит Каспию — что же? — два трупа утопленников: кабардинца и казачки, разбухшие, посинелые, обрюзглые, безобразные трупы, — и будто Каспий с жадностью хватает труп казачки:

И старик во блеске власти
Встал, могучий, как гроза,
И оделись *влагой страсти*
Темно-синие глаза.

Он взыграл, веселья полный, —
И в объятия свои
Набегающие волны
Принял с ропотом любви.

Воля ваша, эта картина столько же эстетически верна и красива, как и сия:

Борей наш дует,
Борей наш плюет,
И сильно под бока прохожего он сует¹².

«Олицетворения» природы надо делать с выбором и осторожно. Всю природу нельзя олицетворять страстями человеческими. На это есть скоты и звери: и посмотрите, как славно Крылов этим воспользовался. Его олицетворения нигде не бьют по эстетическому вкусу и чувству.

Молитва

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —

И верится, и плачется,
И так легко, легко...

Как живой родник в пустыне, так эти двенадцать строк в вашей книге. Душа сладко отдыхает за ними от бурь, от ужасов, тревог, заполонивших остальные статьи. Нет, виноват, еще есть две: другая «Молитва»¹³ и «Ветка Палестины». Автор, неоспоримо, мог бы первенствовать в этом роде, но дух времени требует, как выразился Гете, *поэзии лазаретной*¹⁴, и автор видимо позволяет ей увлекать себя: как бы хорошо ему пригодился его же собственный совет:

Не верь себе

Не верь, не верь себе, мечтатель молодой,
Как язвы, бойся вдохновенья...

Оно — тяжелый бред души твоей больной
Иль пленной мысли раздраженье.

В нем признака небес напрасно не ищи:
То кровь кипит, то сил избыток!

Скорее жизнь свою в заботах истоци,
Разлей отравленный напиток!

.....
Закрадется ль печаль в тайник души твоей,

Зайдет ли *страсть* с грозой и вьюгой,
Не выходи тогда на шумный пир людей
С своею бешеной подругой;

Не унижай себя. Стыдися торговать
То гневом, то тоской послушной

И *гной душевных ран* надменно выставлять
На диво черни простодушной.

Какое дело нам, страдал ты или нет?

На что нам знать твои волненья,
Надежды *глупые* первоначальных лет,
Рассудка *злые* сожаленья?

Взгляни: перед тобой играючи идет
Толпа дорогою привычной;

На лицах праздничных чуть виден след забот,
Слезы не встретишь неприличной.

А между тем из них едва ли есть один,
Тяжелой пыткой не измятый,

До преждевременных добравшийся морщин
Без *преступленья* иль утраты!..

Поверь: для них *смешон* твой плач и твой *укор*,
С своим напевом заученным,

Как разрумяненный трагический актер,
Махающий мечом *картонным!*

Оборотите, поэт, такой совет прекрасный к самому себе! Вам он потому более необходим, что дар истинной поэзии, право же, не так легкомысленно дается, как легкомысленно иногда он употребляется для добычи горсточки удивления толпы и рукоплескания журналистов. Смотрите, здесь вы гоните в людях *Я* своим презрением, которого он точно заслуживает. Но верьте, это не лучший способ лечить *гной душевных ран* человечества. Надобно бояться, чтоб и самому не попасть в *разрушенные трагические актеры с мечом картонным*. Почувствовав *отравленный напиток* — лучше *разлейте* его. *Кипяток крови* не есть вдохновение; *раздражение мысли, плененной какою-нибудь страстью*, не есть вдохновение; *тяжелый бред души больной* не считайте за вдохновение, потому что *Я* принимает вид искусителя, но у одного — дыхание холода, бури, смерти, разрушенья, у другого — дыхание тепла, мира, жизни и назидания. Только по этому дыханию можно различать *Я* от *не-Я*. Прекрасный совет подаете вы всем современным поэтам:

Случится ли тебе в заветный, чудный миг
Открыть в душе давно безмолвной
Еще неведомый и девственный родник,
Простых и сладких звуков полный, —
Не вслушивайся в них; не предавайся им,
Набрось на них покров забвенья:
Стихом размеренным и словом ледяным
Не передашь ты их значенья.

Да, что на сердце, то и на словах; а сердце наше там, где наше сокровище — предмет любви. Коль скоро *Я* — наше сокровище, то *стих размеренный* и *слово ледяное* способны выражать лишь мрачные дела *Я*. Пробивается иногда в душе, одержимой *Я*,

...неведомый и девственный родник,
Простых и сладких звуков полный.

Но вы, поэт, велите:

Не вслушивайся в них, не предавайся им,
Набрось на них покров забвенья.

Боже вас сохрани! Этот чудный родник — дыхание Духа жизни: и вы еще велите задушать его покровом забвенья.

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно... —

невольно повторишь с автором.

В «Песни про царя Ивана Васильевича» русская жизнь, русский молодецкий говор. <...>

— За что ты убил моего любимого опричника? — спрашивает царь.

— Я убил его вольной волею,
А за что, про что — не скажу тебе,
Скажу только Богу единому.
Прикажи меня казнить... —

отвечал Калашников царю. Отвечает ему царь:

...ступай, детинушка,
На высокое место лобное
Сложи свою буйную головушку.
Я топор велю наточить-наострить,
Палача велю надеть-нарядить,
В большой колокол прикажу звонить,
Чтобы знали все люди московские,
Что и ты не оставлен моею милостью...

Как на площади народ собирается,
Заунывный гудит-воет колокол,
Разглашает всюду весть недобрую.
По высокому месту лобному,
Во рубахе красной с яркой запонкой,
С большим топором наостреннным,
Руки голые потираючи,
Палач весело похаживает,
Удалого бойца дожидается.

.....
И казнили Степана Калашникова
Смертью лютою, позорною;
И головушка бесталанная
В крови на плаху покатила!

Такие страницы, сказал Сегюр¹⁵, не достойны даже истории, не только поэзии. Но вы не виноваты: дух времени требует своих картин. Гении, которых вы изучали, которым, по порядку вещей, вы подражаете, сами предпочтительно воспевали подобные сцены кровавого, бурного молодечества. Говоря от души:

— о чем писать?

вы живо чувствовали, что подобные сюжеты недостойны поэзии, но в то же время чувствовали, что такая поэзия будет доступнее для современного поколения,

Чье грядущее — иль пусто, иль темно;

для тех людей, которые

К добру и злу постыдно равнодушны,

хотя все-таки предпочитают живописание картин зла. Вы чувствовали это все — и, по долгу подражателя и по праву каждого автора — желать, чтоб он «читался и нравился» современникам, — вы уступили непобедимой силе.

По этой же самой уступке вы написали: «Дума», «Русалка», где есть утопленник, «Не верь себе», «Еврейская мелодия», где есть «дикая песнь... я слез хочу... разорвется грудь от муки... кубок смерти, яда полный»; «Три пальмы», где караван срубил и сжег единственные три благодетельные пальмы, в песчаной пустыне закрывавшие колодец с водой; «Дары Терека», где есть два утопленника, «1-е января», «Казачья колыбельная песнь», где мать напевает будущему казаку про его будущий разгул и удалство. «Журналист, читатель и писатель», где все есть. «Воздушный корабль», где есть молодец из молодцов — Наполеон. — «И скучно и грустно», где все есть. «Ребенку», «Отчего». «Благодарность». «Из Гете». После всех этих песней во славу Я как отрадно прочесть следующее одинокое, как пальма в пустыне:

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;

Когда, росой обрызганный душистой,
Румянным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;

Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он, —

*Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, —
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога.*

Скажите же, кто вам мешает усердной молитвою, вечною враждой и отвержением Я призвать навсегда в душу свою дух мира, счастье? Кто мешает всегда видеть в небесах Бога — и

мирить своих собратий с Богом, с жизнью, с людьми? — Скажите, кто вам мешает следовать истинному призванию поэта: быть оракулом и благодетелем современников и благословением потомства? Вы сами видите, что можете, — почему же не хотите? Вы скажете, нельзя же писать картин все одним светом? — И я вам скажу, и невозможно: куда мы денемся с своим тенистым Я, оно вечно с нами. Нет, пишите не картину для теней, а тени для картины, сколько ей нужно. Перестаньте ребят удивлять ребячеством, которое вы же лучше всех оцениваете! Предоставьте эту честь дюжинным певцам, которым недостает сил разорвать паутинные оковы подражания.

Займемтесь теперь самым капитальным вашим произведением, поэмой «Мцыри» *.

Вступление — очерк разрушенного грузинского монастыря — хорош; происшествие, случившееся некогда в этом монастыре, составило поэму.

Однажды русский генерал
Из гор к Тифлису подъезжал;
Ребенка пленного он вез.
Тот занемог, не перенес
Трудов далекого пути;
Он был, казалось, лет шести;
Как серна гор, пуглив и дик
И *слаб* и гибок, как тростник.
Но в нем мучительный *недуг*
Развил тогда *могучий дух*
Его отцов.

Надоел этот *могучий дух*! Воспевания о нем поэтов и мудрования о нем философов — удивительно жалки и приторны. Что такое могучий дух? — Это дикое движение дикой природы человека, не вышедшего еще из состояния животного, в котором Я свирепствует необузданно.

Могучий дух в медведе, барсе, василиске, Ваньке Каине, Картуше¹⁶, Робеспьере, Пугачеве, в диком горце, в Александре Македонском, в Цесаре, Наполеоне — один и тот же род: дикая, необузданная воля, естественная в звере, преступная в человеке, тем более преступная, чем он просвещеннее, — в человеке, которому на каждом шагу положен зарок и урок покорности, смирения! И если он добровольно не смиряется, так его смиряют и выбьют-таки из него этот «могучий дух» Я.

* *Мцыри* — на грузинском языке значит «неслужащий монах», нечто вроде «послушника».

В чем состоит истинная сила, истинная *могучесть* воли? В том, чтоб она была полный господин в своем царстве, чтоб она самодержавно управляла, по закону правды, своим *я* — своими слабостями, привычками, пороками, страстями, — управляла в полной зависимости от воли Божией, вполне нам известной. Вот истинная *могучесть духа*! То ли вы разумеете под этим словом? Нет, вы разумеете совсем противное: вы разумеете не подобие могущества человеческого могучеству Божию, а разумеете подобие могущества человеческого могучеству зверя. Между могуществами Божиим и зверским разность неизмеримая, и заблуждение ваших учителей и ваше — неизмеримое. Необузданность духа и могущество смиренного духа — вещи неизмеримо разные. <...>

Итак, умный автор, позвольте мне видеть в вашем пленном мальчишке-горце не могучего духа, а дикого зверенка с необузданною волей. Зачем после вопроса — *о чем писать?* — выбрали вы этого зверенка в герои своей искусной поэмы? Сказать ли вам? — Затем, что этот характер представлял вам случай блеснуть своим мастерством писать ужасные, дикие, разительные картины свирепого *молодечества* во всех родах: и надо отдать вам справедливость, за какую картину (дикую) вы ни брались, вы их славно написали. Но все это лишь орнаменты, которые и вместе-то взятые составляют лишь коллекцию орнаментов, а не целое здание, даже не домик, не шалаш, в котором можно бы пожить душой. <...>

...Мы отдаем вам справедливость — удивляемся! Но одно удивление — награда честолюбца, а не поэта: жертва ума, а не сердца; поэзия — по сердечной части.

Согласен, что стих, — то мастерство! О каждом стихе можно написать по странице комментариев, рассмотреть в микроскоп все его грани, жилки, отражения, игру; но дело вот в чем. Стихи — не ваша вина: вы родились с ними; для вас писать хорошие стихи — такая же заслуга, как для человека ходить на двух ногах, для птицы летать на двух крылах, — это Божий дар, Ему и благодаренье и слава, а вам тут — не за что. Ваше — выбор материала и употребление стиха. Вот почему критик останавливается не на стихе, а на выборе материала, на употреблении стиха. Припомните все ваши материалы — достойны ли они такого прекрасного стиха? Сделайте вы прекрасный выбор сюжета, не ограничиваясь одною сферой *Я*, сделайте вы прекрасное употребление стиха — какие бы чудные, *мировые* вещи могли бы вы создать! Род вами избранный — самый легкий: предоставьте его легким стихотворам, которые только и выезжают, что на крупных, колоссальных страстях, ужастях и

дикостях. Их тупое зрение не способно уловлять мелкие черты добра, истины и красоты, рассыпанные внутри и вне вас, только не в Я. Род вами избранный — не новый; поверьте, он и не поэтический. Нынешние книжники и поэтоучители везде находят поэзию: на бойне быков, в битье собак фурманщиками¹⁷, в драке пьяных мужиков, в разрушении, уничтожении, истреблении, истязании — это ложь, убедитесь! Здесь отрицание поэзии. Ежели тот богач, у кого 500 000 долгу и ни гроша в кармане, то, пожалуй, я соглашусь, что и в резне есть поэзия. Ежели есть вкусы, которым это нравится, то ведь есть и звериные, и дикие вкусы. Есть же вкусы, которым нравится сивуха и листовой тютюн за губой; но у добрых людей такие вкусы называются испорченными! Икто уже нацело испортил свой вкус, с тем и говорить нечего: он не поймет, не убедится, потому что в этих вещах убеждаются не умом, а вкусом. Но пока вкус еще не допорчен до конца — здравый ум может способствовать к его очищению и исправлению. Поставьте человека между зверем и ангелом, как оно и есть: чей вкус ему должно иметь? Согласитесь, от скотского вкуса ему надо мало-помалу переходить ко вкусу ангела. Это путь его образованности. А если так, то род, вами избранный, — ошибка. Я это же самое говорил вам по случаю «Героя нашего времени». «О<течественные> з<аписки>» написали в защиту вашу длинную статью, распространились в исчислении внешних красот рассказа, выражения — я то же самое сказал в двух словах: «*Внешнее построение хорошо, слог хорош, содержание — романтическое по превосходству, т. е. ложное в основании*»^{*18}, потому что все принесено в жертву Я, олицетворенному Печориним, копией Онегина. Но дело в том, что после самых пышных защищений вашего героя «О<течественные> з<аписки>» в конце своей статьи повторили, другими только словами, все мои заключения. Они согласились, что вы славно представили мир Я, тоже доказывали, с присовокуплением, что это только одна сторона человеческой действительности, в которой, кроме *темного* мира Я, есть еще и *светлый* мир Божий; в него-то вы и не заглянули! В этом-то вся и ошибка! оглядитесь: этот светлый Божий мир в вас и около вас — как же можно миновать его? Ту же ошибку повторили вы и в стихотворениях своих.

Булгарин вступился своим манером за «Героя» и превознес вас паче всех веков и времен. Вы первые, конечно, улыбнулись. Если сообразить то, что говорил Булгарин о «Мещанине», что говорили Булгарину за «Мещанина»¹⁹, то уже можно

* Т. IV, гл. IV, стр. 210, столб. 2.

было заранее отгадать, что он скажет о «Герое» после сказанного о нем в «Маяке». Несмотря на все это, само по себе не постороннее, я от души верю, что Булгарин пришел в восторг от «Героя», что он точно не спал за ним целую ночь, что он прочел его дважды залпом. Все это очень натурально: вы так красиво изобразили Я, это Я так всем нам любезно, это Я так мило водит всех нас за нос, что чуть не остерегись — при встрече с портретом, — наш оригинал увлечет нас в самые колоссальные восторги, в самые напыщенные восклицания. Впрочем, Булгарин не вошел ни в опровержение моих доводов, ни в разбор и доказательство красот «Героя». Он поступил гораздо «экономнее» — просто на целом печатном листе разлил свои восторги и восклицания, довольствуясь, в замену доказательств, своим авторитетом долголетнего романиста, рассказчика, критика, которому нечего и думать о возражениях.

Ко всему этому, Булгарин другой раз повторил*, что он не разделяет мнений одного из редакторов «Маяка», Бурачка, насчет изящной словесности, философии и критики. «Об изящной словесности мы с Бурачком имеем совершенно противоположные „мнения“, как то можно было видеть из разборов романа „Герой нашего времени“, помещенных в „Северной пчеле“ и „Маяке“»²⁰.

Булгарин и не догадывается, что этими немногими словами он ставит всю 20-летнюю литературную службу на одну карту, — и карта его убита. Не мнения предложил Бурачок, а логические доводы, не доводы предложил Булгарин, а мнения, основанные на сочувствии к тому, что «в его вкусе». Против доводов Бурачка Булгарин ни слова не сказал, и не скажет, помните мое слово! Он очень хорошо знает, что Бурачок прав; но сознаться в этом не может; иначе надо ему сознаться, что его 20-летняя теория и практика романов — неверна. Вот он и спрятался под защиту вашего «Героя» в полной уверенности, что, как «Герой» понравился многим, и, может быть, лицам, имеющим вес в общественном мнении, то и думает себе: «Если теория словесности, философия и критика Бурачка приводит к тому, что „Герой“ дурен, а „Герой“ нравится, значит, „мнения“ Бурачка — вздор! а „наши“ мнения — истинны. Какого еще доказательства!»

Нет, не так, отец-командер: иное дело читатель, иное дело критик. Читатель думает лишь о себе, рад, если вещь доставляет ему удовольствие, завтра он ее бросит, забудет; критик

* «Сев<ерная> п<чела>». 1840. № 271.

думает обо всех, а пуще о законах искусства, и говорит: «Вы нравитесь, доставляете удовольствие — прекрасно, да зачем идете *кривой* дорогой. К этой же цели вы могли бы довести *прямым* путем». И вслед за этим доказывает, что «Герой» — *огромный софизм, составленный из тысячи софизмов*. Истина беспокоит, софизмы льстят и нравятся. Истинный художник — вечный раб Истины, а не лжи. Вкус общества состоит под влиянием тысячи вещей, и прямых и кривых; он переходчив! На него нельзя опираться. *Истина же Господня* пребывает *веки!* На нее-то и должно опираться. Вот только и всего.

В заключение, честный автор, согласитесь, корень всему — вдохновение; а вы же сами произнесли незабвенный приговор такого рода вдохновению:

Оно — тяжелый бред души твоей больной,
Иль пленной мысли раздраженье.
В нем признака Небес напрасно не ищи:
— То кровь кипит, то сил избыток!

.....

Разлей отравленный напиток!

Булгарин будто и не слышит, что есть на свете вдохновение погибельного *Я*, кроме вдохновения божественного.

Скажите ж мне, о чем писать?
К чему толпы неблагодарной
Мне злость и ненависть навлечь,
Чтоб бранью назвали коварной
Мою пророческую речь?
Чтоб *тайный* яд страницы знойной
Смутил ребенка сон покойный
И сердце слабое увлек
В свой необузданный поток?
О нет! *преступною* мечтою
Не ослепляя мысль мою,
Такой тяжелою ценою
Я вашей славы не куплю!

Посмотрите же, какую огромную славу купили вы! Сам Булгарин ратует за вас.

«Маяк» вам говорит одно, «О<течественные> з<аписки>» и «С<еверная> п<чела>» — другое: впереди вас с одной стороны бессмертие и благословение, с другой — минутное увлечение и забвение: выбирайте, пока время есть!

